

ИЗГНАНИЕ ЗЕМНОЕ

Стихотворения в прозе

Семечки

Учительница математики в этот день светилась торжественно. Я поинтересовался, чем так глубоко она обрадована? Она сказала, что наконец ее новенькая ученица заговорила, уста отверзлись. «Эта девочка поступила в мой класс месяца три назад. Она сразу хорошо выполняла письменные работы, а вот с устными ответами у доски не справлялась, попросту замолкала, потупив взор. Девочка умненькая, но замкнутая, болезненно стеснительная. Стоит у доски, шевелит губами, видно, что знает верное решение, но проговорить его вслух смущается. Я порекомендовала ей занять место за первой партой напротив моего стола, чтобы так, неслышно для других учеников, вести с ней диалог. Мне пришлось обратиться к классу (конечно, в отсутствие этой ученицы), чтобы ребята не мучили ее, напротив – всячески поддерживали. Надо отдать им должное, дети проявили удивительную деликатность. Однажды я посадила ее к себе на колени и предложила произносить ответы мне на ушко. Со временем она стала отвечать на мои вопросы со своего места всё отчетливей. Я пересадила ее за вторую парту, и девочка не воспротивилась. А потом – и за третью. Сегодня она заговорила у доски. Почти спокойно, по делу. Ответ был блестящим. А какой слог! Ребята даже в конце заплодировали ей. И она подняла на них свои глазки, полные счастливых слез. После звонка она выходила последней из аудитории. Я сидела за письменным столом, уткнувшись в компьютер. Она положила передо мной на листик бумаги щепотку семечек, собственноручно очищенных от шелухи, и тихо вышла. Боже, она очистила эти семечки для меня! От них еще исходило тепло ее маленьких пальчиков. Это было очень трогательно! Она преподнесла в качестве своей наивной сердечной благодарности не яблоко, не конфету. Семечки! Старательно очищенные. Никакие бриллианты не могут быть дороже этих детских семечек!» «Удивительно!» – сказал я, готовый к аналогиям. «Я знаю, вы сейчас скажете о символичности этой истории. Но она произошла».

Я попросил прощения, потому что я действительно хотел сказать о символичности этой истории. «Я не знаю, каким человеком вырастет эта девочка, – произнесла учительница. – Но как она догадалась очистить для меня именно обычные семечки?»

Чайки

Под моими окнами – детский сад. Утопающий в зелени, с игровыми площадками, песочницами, клумбами цветов. Оживает он к восьми утра звонкими голосами своих воспитанников. Как задорно они взвизгивают, как радуются друг другу! Искрящийся гомон висит над округой, как

Анатолий Бузулукский родился в Самаре в 1962 году. Окончил филфак Ленинградского госпединститута им. А.И. Герцена. Служил в армии, учительствовал. Автор книг прозы «Время сержанта Николаева» (СПб, 1994), «Антипиперская проза» (СПб, 2008) и публикаций в журналах «Звезда», «Знамя», «Крещатик», «Интерпоэзия», «Нева», «Новая Юность» и др. С 2008 года – постоянный автор журнала «Волга». Лауреат премий им. Гоголя и журнала «Звезда» за лучшую прозу. Живет в Санкт-Петербурге.

брызги освежающего фонтана. Только после обеда, в тихий час, смолкают звуки безудержного веселья, наступает святая тишина. И многоэтажки со всех сторон словно благоговеют перед ней. А потом опять наружу вырывается детский смех – фистулой новой, шкодливой жизни. Как хорошо жить вблизи детского сада!

Последнее время на рассвете до открытия детского сада над его тополями стали кружить чайки. Кричат истошно, словно и не птицы вовсе – лают, как псы. Тельца у них упитанные, как тушки у селедки, а крылья кажутся огромными, растрепанными, как рыбачьи сети. Тельца у них как фюзеляжи бомбардировщиков.

Мы слышим: наука, техника природоподобны. А вдруг и природа стала, в свою очередь, технократична, а значит, недолюбливает людей?

Кричат, барражируют чайки, словно выбирают цель. А что если их цель – дети? Как тут не вспомнить про гусей-лебедей.

Гогот чаек, тени от их крыл накрывают детский сад. Иногда чайки напоминают городских сумасшедших. А иначе что им тут делать – вдали от моря, Залива, воды? Да и свалок поблизости вроде нет. Откуда-то попали в наши края однажды и теперь не могут найти дорогу назад. Что им надо? Что они сюда зачистили? Что они голосят как резанье? Правда, как только появляется первый ребенок с мамой, тяжелые птицы пропадают. На балконах появляются жильцы в дезабилье. Соловьиных трелей не хватает, а тут – эти мартыны-горлопаны. Привыкаем: сверху – тревожные чайки, снизу – детский сад.

Вода

Перед рассветом загрохотало. У грозы – хрустальные звуки. Без металлических обертонов, без фонетической ржавчины. Словно очищенные огнем, молнией. Любой барабанщик позавидует таким безупречно хлестким раскатам! Какая наваристость! Я не видел, но понимал, что вода падала отвесно. Ливень – всегда со светлыми небом. Он был коротким, как догадка. Провода над домами дрожали, как живые. Я не удержался и перегнулся через парапет балкона. Деревья стояли радостные. Круги на светлых лужах расходились медленно, чтобы подольше оставаться плавными. Опять появились чайки. Приготовились к выступлению хором. Но вдруг одна вступила раньше срока. От этого ее вскрик получился особенно горестным. Вероятно, никакая нелепость не обходится без трагической ноты.

Я люблю обливаться водой, окатываться. Вроде и душ приму, но обязательно в конце опрокину на себя тазик с едва подогретой водой. Мне кажется, что водой нужно именно окатываться, как ливнем. Какой бы широкой ни была душевая лейка, под душем не окатиться. Окатываться – значит принимать поток воды, где густо, где пусто. Я люблю периоды отключения горячей воды. Тогда я могу окатываться по праву, без оправданий. Сын говорит, давно надо уже купить водонагреватель. Я спорю: окатываться приятней. Он смеется: «Понимаю, если бы ты обливался холодной водой для закаливания. А так – странно». Как ему доказать, что окатываться действительно приятно. Слава богу, не брякнул: дескать, окатываться – это все равно что погружаться в Иордан с головой. Обезвоживание – обезбоживание. Сын рассказывает о дизайнерских душевых системах, широких, чуть ли не во весь потолок, стационарных лейках с опцией «тропического дождя». О последнем он говорит с неким нажимом. Я пытаюсь убедить сына, что вода должна падать сверху, конечно, изобильно, щедро, но как бы неравномерно. «Неравномерно – значит с дефектом, – печалится сын. – Я же люблю гигиену». «Я тоже не люблю кислых полотенец», – бросаю я.

Сирень

Как много сирени в этом июне – цветущей упругими гроздьями! Коммунальщики в наших дворах постарались – высадили ее шеренгами вдоль тротуаров.

И на выставке Врубеля хватало сирени, ее «тем и вариаций». Здесь она казалась погасшей. Пан взирал на нее снисходительно – глазами безобидного волчка. У Врубеля через одного такие глаза, испанские, брюсовские – ртутные капли. А рядом с ними – детский носик.

Видимо, и сирень – образ страсти. Иначе откуда такая переключка? Передо мной идут флиртующие подростки (подросточки – обычно говорит моя хорошая знакомая), мальчик и девочка, шестнадцатилетние, в массивных цветастых кроссовках и одинаковых черных безразмерных худи. Идут, как и я, по коридору сирени. Вдруг юноша приближается вплотную к кустам, откидывает капюшон и окунает лицо в поток соцветий. И сирень, пока он пританцовывает так, приставными шагами, полощется по его щекам, омывает ароматом и цветочной пылью, гладит скулы, губы, пеньковые, словно на русский лад, дреды. Сами знаете, запах сирени отнюдь не тонкий. Но афродизиак в нем хоть отбавляй. Вдруг девочка шлепает парня ладонью по ягодицам и отскакивает в сторону. Капюшон сползает с ее гладких волос. Она хочет беззвучно. Оба они непоседливы. Но мальчик оборачивается степенно, со всем возможным игривым недоумением. Видно: он собирается до последнего сохранять лицо серьезным. Но краснеет и размашисто надвигается на подружку, которая уворачивается от него как может.

Моя хорошая знакомая, почему-то на выставке уделявшая особое внимание наброскам Врубеля, спросила меня: «А от чего умерла Тамара?» Я сказал, что все-таки по большому счету – от любви. И услышал: «Ну, конечно, от чего еще?!»

Я не стал уточнять, что – от поцелуя Демона. Я не хотел увязывать воедино любовь и смерть. Я поспешил на всякий случай заверить мою хорошую знакомую в том, что и траур исполнен оптимизма. «Исторического», – кивнула она и улыbnулась.

Художники

Не трейбите у мастера разнообразия!

У Ван Гога копаются близко к земле – самозабвенно. Жирный пепел, чешуя. Даже ветер у Ван Гога сухой и жирный. А ветер у Ван Гога – всегда.

Угол дома ровен. Не по-русски. Рядом в снегу – бревно. Хокку Эндрю Уайета.

Прелое крепкое дерево – лодки Стожарова.

Серебряковские женщины-лисы.

Глаза у женщин с портретов Модильяни – как личинки. На лице – личинки.

Пазловатость Эшера. Пазлы-падлы. Неужели и подловатость?

Сезанн – как вырубленное из породы, из мезозоя. Изумрудный Сезанн.

Глазницы Мунка – как озоновые дыры. А не как орудийные жерла.

Как будто у одного и того же дерева – и Саврасов, и Левитан. Что это за дерево?

Левитан не жалеет для неба места. «Последние лучи солнца»: их уже нет. «Сумерки. Луна»: таких сумерек на Земле уже нет.

У Саврасова – оттепелевые лужи. У Левитана – теплые, летние.

Мы все ступаем в проталину Саврасова. Проталина как похмельная испарина.

У Фешина каждая картина – печка. С потрескивающим жаром.

Человечьи лапы Пикассо. Сложение рук. Пикассо разлапист и рукаст.

Нигде, кроме как у вермеерского окна, что слева.

Скуластый Иуда Николая Николаевича Ге.

Почему мы так жаждем современного? Кажется, это религиозный вопрос. Мы обречены искать всякий раз новое утешение.

Молюсь

Помню, в двадцатилетнем возрасте в один из дней меня пронзила какая-то глупая мысль, что я – чист. Слово я буквально осязал эту внутреннюю и телесную чистоту. Я удивлялся, как

много во мне этой чистоты. Вдруг я самодовольно улыбнулся: чистоты во мне так много, что ее не может не хватить на целую жизнь. И что от капли грязи ее не убудет... Теперь – это, похоже, грязь невылазная.

Иногда я говорю сквозь сон: «Господи, спасибо, что я с Тобой». Он как будто что-то отвечает. Я – с радостным недоумением: «А разве *здесь* тоже так говорят – такими оборотами, таким синтаксисом?» Он: «Тогда я лучше буду односложным». Я: «Но тогда я спрошу: а молчать *здесь* тоже можно?» И не получу ответа.

Иногда я говорю: «Спасибо, Господи! Опять поддержал». И слышу: «А ты ведь льстишь». «Нет, Господи, – говорю. – Это благодарность. Так получилось, что ко всякой моей благодарности примешивается какой-либо призвук». «Ладно, ладно», – слышу я... Господь мне помогает. А кто еще? Кто еще такого дурака станет терпеть в этой жизни?!

Мне нравится обращаться к Господу как к родному человеку. И – к Богородице. Хотя Богородицу я и побаиваюсь. Во время молитвы всматриваюсь в Ее лик, словно ожидая расположения, милостивой улыбки. Иногда дожидаюсь, а иногда нет. Лишь – спокойное страдание. Я боюсь, что не всё Она мне может простить. И мать ведь не всё может простить. А Христос – всё. Я привык обращаться к Нему как к родному. А надо бы и побаиваться. Это тоже верно.

Я знаю, что можно покаяться в последний миг и быть прощенным. Вот, дескать, я и покаюсь в последний миг. Дескать, успею, Господи...

Как «там»?

Царствие Небесное Петру Мамонову! Стольким душам хочется этого пожелать! Всем! Мамонов, как и все мы, заразился коронавирусом, впал в кому. Я почему-то не сомневался, что он выкарабкается. Выздоровеет и расскажет – как «там». Вот чьему рассказу о том, как «там», можно было бы поверить. Я ждал этих его признаний, откровений – беспримесных, протокольных. Я знал, что он поведает о потустороннем без утайки, даже если увиденное лично для него станет неприятным сюрпризом.

Но этого не произошло. Этого никогда не может произойти, если мы хотим узнать действительно из первых рук о том, как «там». Видимо, прямой связи с тем миром не может быть категорически. Это – условие, это – завет. А то, что через Мамонова такая связь получилась бы прямой, сомнений нет. Такой он был человек. Но, как говорится, Господь не попустил. Каждому надо шагать и перешагивать самому. Смешная у нас материя. Материя, плоть прежде всего комична.

Боже, как же я предвкушал свидетельств Петра Николаевича! И ведь понимал, что всякое предвкушение нехорошо само по себе. Могу только догадываться, какими яркими и явными были впечатления Мамонова, если они были пресечены на корню. Нет, всё – самим, только самим.

...А ты знаешь, что бы тебе на это сказал Мамонов? «Маловерный, – сказал бы он. – Зачем ты ждал от меня неожиданного? Зачем ты ждешь от того мира неожиданного? Жди известного и верь известному!»

Царствие Небесное, Петру Мамонову! Помню, он говорил: я не могу больше безобразничать, потому что дал слово Христу в этом, я не могу Его обмануть.

Изгнание земное

У входа в некрополь Александро-Невской лавры женщина-билетер (в прошлом – капризная красавица) долго не обращала внимание на мои расспросы. Я интересовался у нее, как пройти к могилке младенца, сына декабриста Сергея Волконского. «Я не знаю, я недавно здесь работаю», – наконец отмахнулась она от назойливого посетителя, и количество мелких морщинок на ее загорелом лице от досады увеличилось вдвое. Вероятно, она действительно работает здесь

недавно – перевели из офиса после выхода на пенсию. И, похоже, не будет знать: ее брезгливость к покойникам необорима.

Я вооружился схемой кладбища и стал плутать между тесно соседствующими надгробными памятниками преимущественно восемнадцатого века, хотя и девятнадцатого здесь хватало. И даже Витте из двадцатого – в силу его земной общественной славы. Почему-то кладбище напоминало мебельный склад, беспорядочно заставленный антикварными комодами, этажерками и канале.

Я искал саркофажец с эпитафией Пушкина. Я полагал, что он должен быть архитектурно изысканным, с резьбой, с магическими фигурками. Именно к таким надгробиям я присматривался. Вдруг к моим поискам места упокоения Коленьки Волконского присоединился еще один курсант. Словно для убедительности я даже продекламировал добродушному мужчине, который двигался передо мной, слова пушкинской эпитафии. Я даже уточнил, что она так и называется – «Эпитафия младенцу». То есть и Коленьке, и в целом любому, каждому усопшему младенцу:

*В сиянье, в радостном покое,
У трона вечного творца,
С улыбкой он глядит в изгнание земное,
Благословляет мать и молит за отца.*

Мужчина повернулся ко мне и сказал: «Вы правы – каждому младенцу». «И благословляет, – добавил я, – каждую мать и молит за каждого отца». Я хотел продолжить, что в этом-то и заключается величие пушкинского искусства – когда через единичное предстает всеобщее. Но мужчина опередил меня: «Как сердечно написал Александр Сергеевич!»

Нам помогла одна из работниц некрополя. Оказывается, мы кружили вокруг да около Колиного саркофажца. А не замечали, потому что он был неприметным – небольшим прямоугольным гранитным коробом. И выбитые на крышке «сердечные» стихи были припорошены древесной трухой и пылью. Мужчина похлопал меня по плечу, сделал селфи с Колиным местом и удалился. И теперь я даже обрадовался тому, что саркофажец младенца оказался таким простым. Даже ковчег праведников не бывают такими простыми. Я протер ладонью гранитное покрытие этого миниатюрного короба и удивился, каким красным стал его цвет, какими ясными стали пушкинские строчки. А внутри – белые святые детские косточки. Они остались здесь, с нами, как залог будущего соединения. А он *там* – благословляет матерей и молит за отцов. Молится за наше копотливое изгнание земное. С сочувственной улыбкой.

Часы

У сержанта в учебке сломались часы. Курсант-новичок Р. дал ему свои. Они отсчитывали, как нам тогда казалось, пустое время. Пришел срок «молодым», получившим по две лычки на погоны, отправляться в войска. Через десять минут фургоны с новоиспеченными младшими командирами должны были отчалить от КПП. Сержанту-инструктору оставалось служить здесь еще полгода.

Сержант спустился в подвальное помещение, в учебный класс, закрыл обитую железом дверь на засов и улегся спать на сдвинутых столах, укрыв голову шинелью. Через тридцать секунд он услышал вкрадчивый стук в дверь и голос Р.: «Товарищ сержант, мы уже отбываем. Можно я возьму часы?» Часы были теперь на руке сержанта – он еще полгода назад предположил, что курсант часы ему подарил. Р. стал стучать настойчивей. Подошли другие бойцы. Стучать начали вместе – горячо и убежденно. Было понятно, что от такого грохота проснется даже самый бессовестный человек. Хотя разве не известно, что в армии спят как убитые?!

Сержант не реагировал. Вероятно, притворялся – больше для себя, – что спит. Чем неизбывней он притворялся, тем ожесточеннее дубасили по двери солдатские сапоги. Воины могли бы преодолеть эту преграду, но, кажется, они этого не хотели – хотели не этого. Хотели колотить в

дверь, проверять ее на прочность, но не вышибать, хотели буяннить и, распалившись, начать ко-стерить сержанта последними словами. Он пропустил момент, когда можно еще было как ни в чем не бывало появиться перед ними. Но после того, как кто-то из них (кажется, из чужого взвода) вдруг назвал его «крысой», он понял, что всё потеряно. Еще четверть часа назад он был для них всевластным командиром и непререкаемым авторитетом. Он знал, что они уважали его, как уважают толкового наставника. А теперь этих пацанов охватила настоящая эйфория – от развенчания кумиров. Они стали свидетелями падения человека. Человека, перед которым благоговели и который вдруг совершил такое, чего никто не ожидал. Они кричали: «Открывайте! Мы знаем, что вы не спите. Верните часы!» И наконец: «Верни, крыса!» Но ему теперь вовек не открыть дверь: мосты сожжены, подопечные – на коне. Он знал, что сейчас, в последние мгновения, когда бойцы особенно истово смешивали его с грязью, им меньше всего была нужна новая встреча с ним.

Сквозь хор ругательств сержант не слышал возгласов самого Р. – тот как будто уже ретировался.

Сержант знал, что кому-то из его бывших подчиненных теперь за дверью было совсем не весело, было не по себе, было стыдно – за него, за себя, за эту ситуацию, за ход жизни в целом. И найдется один, кто скажет (уже когда они отъедут от этой учебной воинской части), что сержант не просто так стал мелкой душонкой, что он пошел на такой позор сознательно, что ему, дескать, зачем-то понадобился этот страшный выверт. Вспомните сержанта, он всегда что-то придумывал. А мы подыгрывали ему. И теперь подыграли. Подыграли с великой радостью, словно для того, чтобы мир перевернулся, чтобы последние стали первыми, а первые – последними. Словно он для нас всё это затеял – свой позор. И я не удивлюсь, если вскоре сержант пришлет Р. часы по его новому адресу. Или раздавит их подошвой, и они хрустнут – ненужные, как живые косточки. Солдатская собственность – понятие призрачное. Есть люди, которым зачем-то надо быть мучениками своего позора. А иначе как всё это объяснить? Как будто есть сержант, а есть его позор – отдельно от сержанта. И позор теперь больше сержанта. Не плевать, не качать головой, а вдруг – окинуть сержанта и его позор мягким взглядом, от которого людям становится хорошо на душе. Не навсегда (это невозможно) – на миг.

Педагог по вокалу

Ее называли умным педагогом по вокалу. Скорее всего за то, что она любила сопровождать слово «голос» эпитетом «умный». Она уже давно мечтает сменить его на «добрый». Но, в отличие от «умный», «добрый голос» звучит совсем уж по-обывательски.

Она плохо спит, с трудом пробирается сквозь надрывные сны. Утро за окном – сырое. «Приглядись! – говорит она себе. – В тумане тополя дрожат, как заблудшие души. Первый туман в этом месяце. Рассеется ли он? Внизу, в траве – теплый тополиный снег». Нет ничего лучше сухого, кисловатого аромата кофе, только что смолотого. Кофе убегает ящерицей, оставляя хвост. Чаше лишь успевает поднять хвост. И женщина его убаюкивает: «Тихо-тихо, милый!» И он вновь укладывается. Есть, правда, и в кофе отголосок нефти.

Чтобы опустить единственное перышко в мусорное ведро, она вновь совершит мешкотный путь на кухню. Подумает: «Если окажется, что перышко было крайне нужным, я побрезгую среди отходов рыться в поисках его. Я махну рукой. И так всегда. У Господа, дескать, ничего не теряется».

Все чаще она вспоминает мальчика, которого, конечно же, стала называть «А был ли мальчик-то». Много лет назад она, по сути, отбила охоту у этого юноши петь. Он пришел за компанию с другими первокурсниками одного из технических вузов на первое занятие хорового коллектива. К ней – на прослушивание. Он не готовился, забрел случайно и, кажется, был подшофе. С ходу вспомнил какой-то романс и с места в карьер запричитал с яркой насадой. Это был крик, но крик чистый и какой-то слезный. Она никогда не любила пьяные голоса. Глотка у этого нескладного паренька была луженая. Непонятно, чего в нем было больше – будущего тенора или баритона. Пел он так раскатисто, что, кажется, даже на улице за окном присмирели прохожие. Это был

единственный в той группе человек, у которого был настоящий голос. Ей тогда не понравилась расхристанность и самоуверенность маленького пьянчужки. Она сказала: «Зачем так громко? Зачем так кричать?» Вероятно, у нее в тот момент было выражение лица, полное охранительной неприязни, словно этот мальчик мог быть для нее чужим и опасным. Он криво ухмыльнулся и вышел из аудитории. Она была молода и не расспрашивала о нем из горделивости. Ей казалось, что первым делом надо искать мудрость и тишину в голосе. Но тишина и мудрость – это еще не голос.

Теперь она вспоминает тот случай и винит себя. Где теперь обиженный ею мальчик-певец? На всякий случай она не пропускала по телевизору ни одного выпуска проекта «Голос», в котором состязались вокалисты-дилетанты, чтобы однажды вдруг увидеть среди них и его. Она бы узнала его голос, даже если бы ручьистая укоризна теперь звучала не сверху, а внизу.

Она любит широкую, томительно дрящуюся музыку двадцатого века. Она плачет от горя и счастья, в который раз слуша «Петербург» Свиридова в исполнении Хворостовского, уже умеравшего. Потом читает Бориса Рыжего, вздыхает: «Жил как поэт, а умер как человек. А лучше бы – наоборот. Никакого гения не жалко так, как этого. Пусть мне только и остается, что жалеть гениев».

Бабушка и брат

Бабушка умерла за два часа до Нового года. Ей было восемьдесят. В провинциальных городках Советского Союза экстренных ритуальных услуг не оказывали. Обмывать тело усопшей вызвался ее старший внук, мой старший брат. Это его решение мне показалось тогда естественным еще и потому, что он недавно отбыл срок «по малолетке». Бледность его лица выражала не испуг, а беспокойство. Но это было торжественное беспокойство. От бабушкиного тела почти ничего не осталось – коряжистое засохшее деревце. Он перенес его в ванную и закрылся от нас. Мама медлительно занавешивала зеркала простынями. Я забился в дальнюю комнату, сидел с закрытыми глазами, дрожал и затыкал уши ладонями. Мне было страшно не от того, что брат касался мертвого тела, а от того, что он видел теперь бабушку нагой. «Уж лучше бы мама это делала, – шептал я. – Но мама сказала, что боится. Маме стало бы плохо. Ей сейчас, наверное, плохо». И я пошел к ней.

Бабушка любила старшего внука сильнее, чем меня. Она называла его – «яблочко мое наливное». Я несколько не ревновал. Я сам благоговел перед старшим братом. Мы все его ждали и не верили в его вину. Мы знали, он сел за другого, не мог сдавать с потрохами.

Потом я смотрел в глаза старшего брата – они были по-прежнему чистыми, как будто и не видели бабушку голой. И пальцы его, в наколках, тоже были чистыми, и лоб, и дыхание.

Спустя годы я прочел стихотворение, которое начиналось «Я пил из черепа отца». Оно было не столько об отце, сколько об отцах, о символическом отце. Нет, мой старший брат отдал дань любви нашей бабушке. Я боялся, что он станет оправдываться: «Было время, бабушка купала меня младенца. А теперь – мой черед». Нет, правилам жизни не нужны пояснения. Только – доверие и личный выбор.

Брат рассказывал, что однажды оболгавший его человек упал перед ним на колени и готов был уже искупить свою вину самым непристойным образом. «Мне стало противно. Я отошел в сторону», – сказал брат.

Брат недолго пожил на белом свете. Что думал он перед смертью? Мне было неловко, что я не успел проститься с ним. В гробу на его лице покоилась знакомая мне улыбка.

Мама

Маму изнасиловал нерусский. Когда она в сумерках возвращалась с работы. Так шушукались соседки под моим окном. Я выглянул – их след простыл. Гуляла пара голубей, и воробьи приплясывали вокруг них, как дети. Мама сидела на кухне, положив руки на сомкнутые колени. Ее

спина была прямой и не касалась спинки стула. Рядом в такой же позе сидела бабушка, переводила взгляд с мамы на меня. Мама никогда так не сидела, и бабушка – никогда. Мама никогда не плакала, и бабушка – никогда. Мама улыбнулась мне тихо, глазами. Но она всегда так улыбалась – всегда виновато. Мне говорили, что и я так стал улыбаться – всегда виновато. Бабушка сварила гречневую кашу, положила бутерброд с сыром. Я позавтракал и пошел в школу.

Я так и не узнал достоверности, изнасиловал ли нерусский мужчина мою маму.

Мама говорила: «Честнее всего – быть обманутым». Ее жалели сестры, подруги, чужие люди. Даже судьба, кажется, иногда любовалась ею. Удивлялся отец, порой всхлипывал, но опять уходил к своей Зинке. Умирать пришел домой. Мама была простодушной, но многие вдруг пытались походить на нее. Моя теща рассуждала: «Мы с вами родственные души: вы – телефонистка, и я связист».

Я никогда не называл маму мамочкой. Одно время я совсем никак ее не называл. Слава богу, это время было непродолжительным.

Она говорила: нельзя людей звать чурками, зверушками. Я спросил: «Потому что тогда и нас нельзя будет звать людьми?» «Нет, не поэтому, – возразила мама. – Просто нельзя. Нехорошо это».

Прости меня, мама, если слышишь. Если Господь слышит, значит, и ты слышишь.

Терпение чиновника

Этот чиновник понимал, что я откажусь председательствовать в общественной комиссии, улыбнулся мне лучисто и перевел взгляд на другого соискателя – помоложе, сдобного, в пиджаке и галстуке в 30-градусную жару. Молодой соискатель, обливаясь потом, поспешил согласиться: «Да, я бы стал – мне интересна эта тематика». Дама преклонных лет, почему-то с двумя телефонами и двумя футлярами для очков, тоже спохватилась: «Я бывший директор школы. Хочу. Мне это известно». Председателем выбрали молодого, дама обиженно взялась подвизаться секретарем. Чиновник показывал ей глазами: дескать, пропустите вперед молодого карьериста – вам-то это зачем?

Чиновник был худощав, лысоват, низок, суетлив. Но эта суетливость была особого рода – спокойной. Происходила не от волнения. Словно он появился на свет таким – с врожденной суетливостью. Почему-то при взгляде на этого избыточно хлопотливого человека возникало ощущение, что с ним никогда не случится нервного срыва, какого бы унижения и насмешки он ни испытал. Словно для него раз и навсегда было установлено: ты – такой человек, твое дело – терпение. Ты никогда не хлопнешь дверью, никогда не уйдешь по собственному желанию. Терпение у тебя – не выстраданное понимание жизни, не деликатность, не фига в кармане, не постриг. Терпение для тебя – знак свыше.

Будучи помоложе, он писал матери с горечью: «Я теперь всё больше и больше становлюсь похожим на Башмачкина». Мать отвечала: «Перестань, пожалуйста. У тебя очень красивая лысинка, как у папы».

Его невозможно выбить из седла, потому что его терпение давно уже перестало быть таким. Ему уже и до пенсии немного. Не успеете лишить терпения. Не успеете никогда.

Гусиные лапки

Как хороши гусиные лапки вокруг глаз! Каждая морщинка – лучик улыбки. Долгой улыбки – от песчаных бурь жизни, сращенности с ней.

У них общая улыбка – семейная, родовая: у отца, сына, дочери. Бабушкина. Улыбка – особого отношения к дару. Мы дарим с тихой радостью. Но бывает по-детски жалко: дарю в ущерб себе,

живу в ущерб себе. Как бы так сделать, чтобы без ущерба? Закрывать глаза, не улыбаться, не дарить? Не выдумывая, ничего не жалко. Тогда почему улыбка такая нелепая?

Полнота воплощения неминуема даже для самого нелепого человека. Мы ждем, что своей жизнью спасем другого. Через меня или чтобы я? Неважно, главное – спасти. Тогда – через меня.

Отец раньше говорил: «Это не твоего ума дело». Теперь всё чаще произносит: «Это не моего ума дело». В его устах звучит: это ни чьего ума дело. И улыбается гусиными лапками.

В конце июля

Рядом с моим домом – тропинка в лес. Высокий, долговязый, голенастый. По его макушкам расплескался свет. Отсюда видно, какой он нежный, сливочный, топлёный – кругляшок солнца растаял без остатка. Ветерок поверху. Рукоплескания листьев. А внизу словно не просека, а ущелье. Окрестные жители – в три погибели – за черникой. Спелые черные слезы нужно собирать втихомолку. Некоторые мелкие кустики каким-то чудом притягивают к себе верхний елейный свет и сияют.

Я выхожу к однокласснице. Рядом – яичница из ромашек. Молодой папа учит двух маленьких дочек приветствовать поезда, другую жизнь. И действительно, как добродушный носорог, выполняет тепловоз. Девочки машут ему ручками-веточками. Тепловоз тепло, с радостью отзывается веселым, извилистым гудком. Одна из завитушек этого гудка, быть может, достается мне. Я говорю: «И тебе счастливого пути!»

Поворачиваю. Небо снижается. На деревьях вдали облака как моцартовские парики. В этом рязом ситце небу, наверное, станет знобко. Небо проплакало всю ночь и, кажется, опять готовится. Готовится стать хмурым, холодным, не сегодняшним, скорого будущего.

Надеюсь, еще посчастливится увидеть вербу в светлом колодце и позже над головой созвездие, похожее на хуторок в ночной степи.

О человеколюбии

Я услышал или мне показалось, что я это услышал, Лиза Н. шепнула другой восьмикласснице: «Опять о человеколюбии». Я ей был благодарен, что она не сказала – «о *своем* человеколюбии». Больше я не буду произносить это слово ни в их классе, ни в других. Скоро она заметит, что это слово исключено из моего лексикона. И увидит, что я даже не ишу ему эквивалента. Другая дорожная карта – напротив, демонстративно поднимать на щит это слово – изобличит мою неуверенность. Я не предаю содержание (Лиза это поймет), я прибегну к иным выразительным средствам. Если Лиза не против понятия, а против его наименования, я продолжу гнуть свою линию вербально иначе. Современность всякий раз нуждается в переименовании. Чтобы вещь не казалась отжившей, ее следует перелицовывать. Допустить же, что для Лизы само это понятие раз и навсегда – пустой звук (даже если именно так ей теперь кажется), было бы ошибкой. Всё дело в «теперь». На некоторые «теперь» ученика педагог должен смотреть как на точки роста. Мне же теперь – не перехваливать и не недохваливать.

Я буду говорить о нравственном выборе, фактически – о выборе между добром и злом. Что на это скажет Лиза Н.? «Выбор между добром и злом» – фонетически вполне себе рубленая, «твитовая» фраза. Хотя я почему-то уверен, что Лиза Н. свои сообщения в мессенджерах предпочитает складывать из полновесных синтагм. Все знают, что Лизе Н. это позволительно. Я даже не удивлюсь, если Лиза Н. и словом «человеколюбие» нет-нет да грешит. Лизе Н. это разрешено. А вот учителю литературы нет.

Я побывал на странице Лизы Н. в социальной сети. На фотографиях она самая захудалая среди своих друзей – с острым носиком, конопатыми ручками, розовой, но все равно блеклой

челкой. И она как-то по-особому сутуловата, что порой себе позволяют сильные натуры. На фотографиях она – в центре, в полукруге, верховодит тихой сапой. Все хохочут, а Лиза Н. лишь едва улыбаются. Было видно, что ей неприятно попадать в кадр. Было видно, что некоторые ее приятели были с моим выражением лица.

При анализе одного из литературных произведений (в подтверждение его ключевой мысли) я сказал школьникам, что, если помните, и Христос омыл ноги своим ученикам. Я ожидал по-детски произвольных усмешек. Они появились: подросткам не возбраняется порой иметь пошлые ассоциации. Мне казалось, кто-то из них еще не забыл медийную новость, как Папа Римский склонял голову к ногам африканцев в дорогих ботинках. Я хотел сказать на уроке, что нет ничего позорного в том, что учитель оmyвает ноги своим ученикам, даже если ученики еще не воспринимают его своим учителем. Тяжело этим ножкам будет. Но не сказал – это было бы избыточным уточнением.

Пушкин

Все иные поэты жеманны по сравнению с Пушкиным. Поневоле, самую малость, но жеманны. Сын возразил: «Так принято думать». – «Я и сам в твои годы был безразличен к Пушкину. А теперь без него не могу». – «Прямо не могу? Это тоже жеманство». – «Да, это тоже жеманство».

У Пушкина был любимый эпитет – «прямой»:

Таков прямой поэт. Он сетует душой...

Не случайно Пушкин вложил его и в уста Татьяны, чтобы с помощью этого определения она назвала лучшее, что было в Онегине, то, за что она его полюбила:

*Я знаю: в вашем сердце есть
И гордость, и прямая честь.*

Пушкин – поэт метонимии, а не метафоры. Метонимия и сравнения ближе к действительности. И доверял лексическим повторам:

*На печальные поляны
Льет печально свет она.*

Неужели Александр Сергеевич не мог подобрать синоним? Но повтор – это предельная точность, это равенство всего и вся, и это музыка.

Точность:

*Зари багряной полоса
Объемлет ярко небеса.*

После Пушкина вместо «ярко» обязательно поставят как минимум «жарко». И будут по-своему правы.

И еще – всегдашний пушкинский разворот, чтобы придать бодрость ходу жизни. Сначала элегично:

*Мой путь уныл. Сулит мне труд и горе
Грядущего волнуемое море.*

И вдруг – разворот, прорыв:

Но не хочу, о други, умирать.

Любит Пушкин дорогу. Но – разворот:

То ли дело, братцы, дома!

Тем более это написано накануне женитьбы – пора остепениться.

И какая глубина и мягкость – к женщине! Сквозь все усомнения, она для Пушкина – «ангел кроткий, безмятежный». Обещала поцелуй и ушла навсегда в мир иной. Но о поцелуе обещанном не забыть:

Но жду его; он за тобой.

Словно о себе написал Пушкин: «Мой приятель был самый простой и обыкновенный человек, хотя и стихотворец».

Одним словом, сынок, во дни сомнений, во дни тягостных раздумий...

Любимая

Ты говоришь: когда я чищу зубы, далеко улетаю мыслью. Еще дальше улетаю этой самой мыслью, когда запиваю водой свою обязательную суточную таблетку. Куда? – спрашивает твоя улыбка, в которую я влюбился и с которой ты родилась.

Я полюбил целовать твою провидческую улыбку. Ты не скрывала, что ничего обо мне не знаешь, но твоя улыбка всякий раз напоминала, что знает обо мне всё.

Иногда, замирая, я действительно улетаю мыслью в будущее наших детей, внуков, далеких потомков. Куда-куда? – твоя улыбка с годами становится недоверчивой. У нее есть на это причины.

Кровь в голову – и называть любимой кого угодно, только не тебя... Нет, слово «любимая» табуированное, религиозное, однократное. Язык не повернется назвать еще кого-то любимой. И потом, ты помнишь, за чем ты меня застаешь, застукиваешь? Да-да, за таблеткой.

А бес в ребро? – настаивает твоя улыбка.

Бес в ребро – это не серьезно.

Вот именно – не серьезно, – грустит твоя улыбка.

Прощай меня, даже если меня не за что прощать. Я уповаю только на твою улыбку. Пусть она не слабеет, не учится догадываться, а, как и прежде, знает всё наверняка!

Директор по маркетингу

Маятник качнулся в другую сторону. Неотвратно – по-другому не бывает. «По-другому не бывает», – так Борис, директор по маркетингу, твердил в последние дни своей жене, а иногда себе – вполголоса.

Сегодня – совсем уж некрасиво и как-то смешно, а не издевательски: на офисной маркерной доске каллиграфическим, поэтому не опознаваемым почерком выведено: «Россия и Запад». Там, где еще на прошлой неделе и неизменно из года в год красовался индекс потребительской лояльности NPS среди шкал и диаграмм, теперь проступило – «Россия и Запад». Шутник оставил из прошлого лишь стрелки главных ударов – красные, перекрывающие синие.

Так, вероятно, горевал и учитель Беликов из «Человека в футляре», получивший карикатуру на себя с припиской «Влюбленный антропос». Но «антропос» ведь первочеловек. «На святое покусились», – хохотал раньше Борис, когда читал этот чеховский рассказ дочери-школьнице.

«Не смешно, а как-то бессовестно всё это, – обессиленно расстраивался Борис, пальцами массируя виски. – Завтра жди, напишут одну Россию».

«Мы теперь с тобой вдвоем, остальные – против нас», – говорил генеральный. Борису слышалось: «Ты теперь один». «Учредители дрейфуют в сторону большинства. У тебя есть деньги на первое время?» – продолжал генеральный. Борис кивал головой.

«Черт меня дернул опубликовать тот пост в фейсбуке! Но это был инстинктивный шаг. Мосты сожжены. Шаг перед пропастью всегда предопределен. У каждой эпохи две стороны медали – поражение и реванш. Победители улыбаются криво: это тебе за твою Канаду, куда ты не устал летать!»

Борис думал о гримасе извечной пренебрежительности на лице своей жены. Она признавалась, что не знает, как с ней справиться. У нее и в Канаде, и в Париже та же самая брезгливость. Хотя в глубине души жена совсем не такая – она добрая и простая женщина. Это какая-то мимическая короста, не имеющая отношения к характеру человека. А его не любят за тихую, вкрадчивую речь, словно он пытается что-то скрыть. А он ничего скрыть не пытается. Наоборот, всё больше и больше горячится и даже хорохорится. «А в Канаде, чтобы вы знали, меня восхитил лишь промерзший до хрустального льда Ниагарский водопад».

Победители улыбаются криво. А Надька дура, которую он полгода назад спас от неминуемого увольнения, восклицает: «О, кто это так хорошо написал на доске?»

Вспоминая деда

Я проснулся от артиллерийской пальбы. Слава богу, оказалось – небо грохотало. Страшная гроза – сухая, без капли влаги. Рассвет – с прозеленью. Молнии мигали, как электролампочки на излете, перед тем как перегореть. Но освещали молнии комнату на всю глубину – никуда не скрыться от этого взрывчатого света.

Но все-таки ливень хлынул: у природы ничто не заканчивается претенциозно – на полуслове.

Я заглянул в зеркало: я из тех, у кого полжизни – старость. Давным-давно я спрашивал у своего деда: какие мысли бывают перед войной? Он отвечал, не задумываясь: «Перед войной – простые мысли. А вот лето – душеное». У деда были по-стариковски благородные ноздри – голые, без волосиков. Как-то он сказал: «Одного трусость спасла, другого смелость сгубила. А должно быть наоборот».

Младшенького покрестили

Вот и младшенького покрестили. Я так жаждал этого, словно о своем крещении думал. Торопил дочь и зять, боялся за внука. Когда определились с датой и местом, с храмом, младшенький изо дня в день стал интересоваться: «Когда меня покрестят?»

В церкви стоял не капризничая, сам по себе. Ручки взял назад. Не видно было, чтобы волновался. Но выражение лица с плотно сомкнутыми губками напоминало прабабушкино, моей матери, когда она, в особенной тревоге, выглядела обреченно спокойной. Ее нет уже с нами двадцать лет, но правнук наклоняет голову чуть вперед так же, как делала это она.

Молодой батюшка держал его над купелью, по глазам мальчика катилась вода, и он неотрывно смотрел на пламя свечи. А в алтарь входил в крестильной рубаше, оглядываясь на мать.

Мне нравятся две фотографии, сделанные с паузой в одну секунду. На первой – наш младшенький сразу после крещения с мокрыми ржаными волосиками, прилипшими к нежному лбу, и

огромными вопрошающими глазами: «Мама, я справился, теперь меня покрестили?» А на второй – сияющая радость в тех же огромных глазах и детская улыбка. «Справился, тебя покрестили!»

Я хочу этот диптих с фотографиями моего внука поставить рядом с образом Богоматери. И пусть он станет для меня еще одной иконкой!

Курьер

Он вынужден был пойти в курьеры. Вечером неожиданно объявился – промокший до нитки под ливнем, с велосипедом. Он переодевался в мою одежду, его, раскисшая, падала к ногам, рассказывал, как прошел первый рабочий день: опаздывал с доставкой каждого заказа, путался во дворах – навигатор на его телефоне глючил. Говорил, что в целом понравилось – принадлежишь самому себе. Но за опоздания штрафуют. Вез одной даме два стаканчика кофе – расслескал половину. Да и кофе никудышный, как сказал ему бармен. Почему она не может сварить себе кофе дома – такая интеллигентная, вежливая, но растрепанная?

Он был худ, позвоночник у него выступал как девичья коса.

Попили чай с бутербродами. Я спросил: «Не обманут с оплатой?» «Не знаю», – ответил он равнодушно. Я вспомнил, как в один из прошлых визитов он заговорил о статуе Христа на вершине горы в Рио-де-Жанейро. Его восхищало, что задумана она была в современном стиле, ар-деко, что похожа, благодаря размаху рук Иисуса, на самолет с вертикальным взлетом, и молнии по ней бьют неустанно.

Дождь зарядил на сутки. Он решил, что поедет – до дома рукой подать. В пакеты собрали его мокрые вещи. В отдельный пакет я положил ему кусок замороженного мяса, колбасу и банку с зеленым горошком. Он сказал, что не довезет – пусть продукты останутся. Но я уговорил его. Он посмотрелся в зеркало, молвил с улыбкой, что выглядит как бомж – в моих штанах и куртке, размера на три превышающие его. Я помолился, чтобы Господь даровал ему дорогу спокойную и безопасную.

Через полчаса он позвонил, сообщил, что идея с продуктами была плохой: пакеты порвались, одной рукой он, как мог, прижимал поклажу к телу, другой рулил. Перед железнодорожным переездом свалился с велосипеда, разбил колено, долго лежал в луже, потом собирал вещи в одну кучу. «Странно, – говорил он, – стояло много машин перед шлагбаумом, но никто не вышел и не помог. Когда бы на самих путях грохнулся, наверное бы помогли. Нога болит, но если завтра пропущу работу, оштрафуют».

Мне было стыдно, что я не дал ему в дорогу новую вместительную спортивную сумму – я приготовил ее в подарок для внука.

Я боялся, но все равно молился, чтобы его, начинающего курьера, не обманули с вознаграждением за труд.

Тело

Обаяние прожитой жизни проступает сквозь осанку стареющего человека.

Надо начинать прощаться с телом.

В шесть лет я опрокинул на себя, на ногу, чайник с кипятком. Помню перепуганного отца. Больше страха, чем в тот раз, я не видел в его глазах никогда. Мой сын на моих глазах однажды плюхнулся и разбил лицо в кровь. Мне казалось, что было больно мне, но это было его тело.

А мое?..

Я рос угловатым пацаном – долговязым в эпоху ладных советских офицеров. Образцовыми считались физкультурники Дейнеки. Мне были противны мои длинные руки. Крестный шутил, поглядывая на мои большие ступни: «Надо бы их немного укоротить». Вот когда я научился улы-

баться заискивающе – когда слезы начинали душить меня. Тетя Оля, жена крестного, утешала, но все равно не решалась говорить, что длинные руки – это хорошо. Мы все вместе заблуждались. Теперь я вижу, какой красивой бывает худоба и какими пригожими бывают длинные жилистые руки. Но тогда я не верил, что нравлюсь таким моей девушке. Ох, этот имперский стиль акробатики и греко-римской борьбы!

Моя кожа на плечах пузырилась от солнечного ожога. От прививки, сделанной в армии, долго гноилось плечо. Так же долго, до самой смерти, у отца гноилась щека. Четырнадцать часов на учениях я простоял в холодной воде. Полдня всем нашим взводом мы тряслись в грузовике на морозе, обуздывая из последних сил свои переполненные мочевые пузыри. Когда попрыгали на землю, пар над опушкой леса стал подниматься как в бане. Я помню, что в молодости старался перед унитазом утихомиривать свой горный ручей. Когда выходил из туалета, стыдился целомудренного взгляда тестя, страдавшего от простатита. Теперь у меня, наверное, такой же взгляд.

Я записываю в ежедневнике на каждый четверг – стричь ногти. Я всю жизнь напрасно призывал себя выходить из ванной причесанным, а не с полотенцем на голове. Я умолял себя быть не психологическим человеком. Почему я вспоминаю, как в начальной школе не мог смириться с эффектом масштабирования, с тем, что на географической карте умещается целый город?

И еще я помню, что всегда мое тело любило рубашки-поло.

Ужин с дураком

«Ужин с дураком» звучит готически. В этом театре название пьесы перевели со всей возможной соборностью – «Ужин дураков». Режет ухо. После спектакля разговорились.

– Зачем понадобилась сцена с полуголым мужиком в ванной?

– Это же Франция! Буффонада, французский стиль. Когда я была во Франции...

– А не пошло ли это?

– Нет, во Франции это не пошло.

– Заметили странную агитацию в зале? А актеры хотели быть святее французов.

– Все соскучились по прежней легкости.

– Теперь даже здесь – Россия и Запад. И опять – фи́га в кармане.

– Вот Запад обвиняют в лицемерии. И вообще во всех смертных грехах. А вам не приходило в голову, что, открывая Окна Овертона, Запад тем самым пытается чистить свинарник человеческой души? Не то же самое ли делал Достоевский в свое время? Запад говорит: человек ведь грязен, и мы обнажаем эту грязь.

– Восхищаясь ею?

– Человека можно раскрыть, только восхищаясь им. Как и ученика.

– Запад не любит Россию, как честолюбивый учитель не любит незаурядного ученика, всегда будет считать его неблагодарным.

– Есть за что: такой ученик нередко готов идти по головам. Кусает руку дающего. По правде сказать, мы не хотим знать свое место. Все знают свое место – Индия, Китай. Россия для Запада – выскочка, парвеню.

– Наше место – прикрывать Запад своим щитом от монголо-татарского нашествия? Как там у Пушкина – «И нашей кровью искупили Европы вольность, честь и мир»? И после этого еще оставаться благодарными? А нас не обязательно благодарить?

– Мы не такие уж простачки. Сами говорите про фи́гу в кармане.

– У нас-то фи́га в кармане, а у них камень за пазухой.

– Ох-ох-ох, какие мы несчастные!.. Вы же любите Томаса Манна?

– Да, и Джойса, и Фицджеральда, и Кафку, и Рильке. Всем сердцем. Поэтому не знаю, как мне быть. Знаю, что не гоже уверенному в своей правоте человеку стыдиться этой правоты, извиняться за нее.

– Держа фигу в кармане. Не будете же вы злорадствовать, когда Западу поплохеет? А когда вдруг победите – сердечно поблагодарить?

– Победим или проиграем – посмотрим. Мне бы хотелось по-пушкински. Мне бы хотелось гореть каждым словом пушкинского «Клеветникам России». Гореть и верить.

– А еще недавно говорили, что для души надо читать не «Клеветникам России», а «Зимнюю дорогу».

Не пиши об этом

Не пиши об этом – о кресте, о священниках, о Божьей помощи, о верующих людях.

Верующие у тебя – умильные, жеманно православные. А в верующих молодых мужчинах, особенно знаменитых артистах, тебе чудится бабья мягкость, хотя и хорошая.

Батюшки у тебя – либо горький пьяница отец Олег, либо технократ-протоирей отец Александр из бывших спортсменов-борцов, кряжистый, неумолимый. Попросил прислать фотографию моего покойного брата, чтобы разместить ее на стенде в своем храме среди других живых и мертвых наркоманов – для общей молитвы. Я послал, отец Александр не ответил.

Крест ты видишь во всем, главным образом – в человеке. Вот твой сын-подросток с раскинутыми в стороны руками на фоне лучистой Невы с линией дымчатых дворцов на другом берегу – как крестик. Так получилось, что он действительно – твой крест. И еще – я мистически благовою перед нательным крестиком: порой, умываясь, сморкнувшись в раковину и едва успею прикрыть его ладонью, чтобы не заляпать. И смех и грех.

Помогал ли Господь? Помогал. Я удивлялся этому как ребенок. И забывал от радости о недавних зароках и клятвах. Но сколько ни молись, помогать Он не будет, если то, о чем ты просишь, в силах сделать самому.

Как лучше: отправиться к старцу и вдруг узнать в нем своего обидчика из школьной поры или, напротив, тогда унижаемого тобой? Вспомнит ли он тебя?

Проводы

У военкомата провожают мобилизованных. Трепещут флажки – трехцветные и алые – как пустые рукава. Солнечно и сыро. Золотая осень поневоле становится бурой. В этом преуспеваеет клен, особенно макушкой. А две березки рдеют, но весело поблескивают. Других деревьев поблизости нет. Школьники обступили учителя. Плачут. Одна девочка ревмя ревет, задыхается. Молодой учитель смущен и радостен, просит:

– Не плачьте. Идите на уроки.

Добрый, честный, талантливый, иногда добавляли – перехваленный.

Большинство мужчин уже тихо сидит в автобусе. Уже – там. Некоторые – еще с провожающими женщинами. Местная, военкоматовская дворняжка вдруг забилась под скамейку. Рослый парень в бордовой бейсболке выбрался из автобуса, подошел к собачонке, присел рядом на корточки, протянул руку. Та лизнула ее, но на свет не показалась. Парень потрепал собаку по морде, удивился:

– Ты-то чего горюешь? И чем я лучше тебя?

Выпрямился – и опять в автобус.

Другой конфузливо говорил поверх головы матери:

– Время пришло.

Она поняла по-своему, плечи ее задрожали.

Когда автобус с мобилизованными исчез за поворотом, руки у женщин опустились. Две-три обхватили ладонями головы, так и шли.

– Держать надо было, прятать.

- Да разве моего спрячешь?!
 - Если любишь, держать надо.
 - Я его и люблю, потому что он такой, какой надо.
- Появился старичок с седыми колючками из ноздрей. Воскликнул:
- Что, сбагрили мужичков с кредитами?
 - Что вы такое говорите? Как вам не стыдно?
 - Стыдно? Идут – светятся.
 - Это солнце.
 - Знаю я ваше солнце.
 - Вы всю жизнь злой.
 - Злой? Из-за вас, из-за баб.
- Старик ретировался – собака выбралась из-под скамейки и грузно побрела позади женщин. Слышен был голос всхлипывающей матери:
- А мой сказал: «Мама, время пришло».

Семейные фото

Дворец бракосочетания на Английской набережной. Наше торжество. За нашими спинами два стула из четырех для родителей – пусты.

Я словно выбирал себе жену по примеру брата: у наших жен – невероятно красивые ноги, особенно икры. Сильные, играющие двуглавыми мышцами, как желваками. Икры-рыбы.

Отец закрыл глаза с мучением. Как точно выглядят люди на фотографиях! В жизни он был другим.

Отец и мать – юные. Мама прислонилась плечом к груди отца. Больше она так не прислонялась.

От фото с бабушкой Леной осталась половинка. На несохранившейся части была ее лучшая подруга Груня. Бабушка Лена сказала: «Разругались в пух и прах». Умерли с разрывом в один месяц. Бабушка Лена первой. Перед смертью успели помириться.

Таня и Людочка – жена и дочь моего дяди Вани, старшего брата отца. Мой дядя Ваня застрелился сразу после войны. Я его не застал. Таня с младенцем вернулись на родину. Там и сфотографировались через много лет для бабушки и дедушки. На обороте снимка – химическим карандашом: «Львов, 1957». Кто бы мог подумать – Львов, Западная Украина!

Похоронили бабу Лену. Свежий холмик, с самого начала – перекошенный крест. И я, тринадцатилетний подросток, тоже стою удрученный. Но думаю о хоккее. Я помню, что в тот момент думал о хоккее.

Отец, мама, Леша, баба Лена. Какая все-таки жертвенно нежная моя мама! С нежными девичьими ножками.

1940 год. Хоронят деда Алексея, председателя колхоза, еще даже не сорокалетнего мужчину. Мама, школьница, опять смотрит душевное всех. Показалось, что мой Сашка чернявостью и носом похож на прадеда. А ведь Сашка – копия своей матери, моей жены.

Мои тетки с мужьями. Все четверо хохочут. Цветущая яблоня. Глянец того времени.

Я – длиннорукий, молодой, с маленькими детками. Опять – половина фотографии. Кто был на второй, хоть убей, не помню.

Я – семилетний. Как мне идут рубашки-поло!

Маленькие – сестра Галя и брат Леша. Я еще не родился. Появлюсь на свет, когда умрет сестра. Всю жизнь с неба молится Галя за нас.

Фото с женой на Новый год не получилось. Хотели сфотографироваться в формате мещанского счастья: жена сидит, муж стоит за ней, положив руку на ее плечо. Вышло: жена счастлива, я нависаю.

Фото алкоголика. Все алкоголики выглядят одинаково обреченно. Их при этом никому не жаль.

Зачем я надел кепку – при майке?

Я на берегу Адриатического моря. Чего ради там?

Старый развратник

Недалеке от меня идут двое. Пикируются на фоне сумеречной осени.

– Ты кого-то ищешь? Ты всю дорогу зыркаешь по сторонам.

– Не шаркай по листьям – носки у тувель сотрешь.

– Ты превратился в невероятного развратника.

– А какой это – *невероятный* развратник?

– Невероятный развратник – это старый развратник.

– Я просто люблю осень. Сырой и темной.

– Вот в природе ничто не развратно, даже эти грязные голуби.

– А вот этот клен-сифилитик, колченогий, сгорбленный? Посмотри, какой развратный – прелый, гнилой, а все туда же.

– Куда?

– К березке. Вечно дрожат эти березки.

– Не наговаривай ни на клен, ни на березки. Это благородный клен. Старый и благородный.

– Мы с тобой вдвоем. А настоящий старый развратник – всегда один. Вот как этот сизарь.

– Да не обижай ты птиц!

– А я и не о птице говорю.

Затихли, выговорились. О ком это он, гм?

Зимний лес

Какое славное одиночество в зимнем лесу – тихом, глубоком! В отдалении вдоль одноколейки промерзшая бахрома сосен – как волчья шерсть с прозеленью. Но и здесь бывает добрый человек: от кормушки отлетел насытившийся снегирь. Злым людям здесь делать нечего: им здесь скучно, непролазно скучно.

Небо из колодца леса серебрится сквозь мозаичные ветки, затем лиловет, как в слуховом окне, и ближе к поселку начинает пунцоветь во весь горизонт.

Почему так интересно смотреть на одинокого ходока? Потому что рядом с ним всегда дышит его неумолчный, плотный век. Иногда подбегает счастливый пес, чей хвост напоминает лисий, и удирает вновь. Бодро шагает завсегдаята лесов, вытоптал в снегу дорожку. Вот-вот – и шагнет в зарево заката. Я прислоняюсь к дереву и смотрю: выйдет он из пламени или нет? Отсюда не различить. Озираюсь: вот бы все ржавые трубы были такими живыми ржавыми, как эти высокие, готовые гудеть стволы!